

DOI 10.18522/2415-8852-2024-4-162-173

УДК 821.161.1 +
821.112.2(436)

ОБРАЗ ЧИНОВНИЧЕСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ И Ф. КАФКИ

Кирилл Викторович Штейнбах

старший преподаватель Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия)

e-mail: stein1.kun@gmail.com

ORCID 2: 0009-0002-8261-4681

Аннотация. Статья посвящена проблеме сопоставления творчества Франца Кафки и Николая Гоголя на примере образа чиновничества. Так как проблема сопоставления творчества австрийского и русского писателя имеет длительную историю исследования, необходимостью стало обращение к рецепции зарубежных и русских исследователей. Несмотря на различие в подходах, общим объектом сопоставления в произведениях двух прозаиков становится сложное соотношение обыденного и фантастического. Исходя из этого, рассмотрение чиновничества, на наш взгляд, представляет особый интерес, так как именно данное явление представляет гротескное сочетание достоверности представления и абсурдности. В творчестве Гоголя и Кафки чиновничество присутствует как амбивалентное явление, определяющее художественный мир как неупорядоченный и вместе с тем логичный хронотоп. Как важное свойство власти также стоит выделить ее сакральную, почти божественную природу, ибо она недостижима и далека и закрыта для понимания. Фигура чиновника у Гоголя заменяется иерархической характеристикой; герой Кафки, ничтожный и вместе с тем трагический, существует в бюрократизированном по своим свойствам мире.

Ключевые слова: Кафка, Гоголь, реализм, модернизм, компаративистика, поэтика, бюрократия, амбивалентность

Традиция сопоставления черт поэтики Франца Кафки и Николая Васильевича Гоголя зафиксирована в ряде работ [Parry; Karst; Puleri; etc.]. В большинстве из них рассматривается прежде всего общность творческого метода Кафки и Гоголя, заключающаяся в причудливом смешении бытового и фантастического.

Так, И. Пэрри устанавливает традицию сопоставления Гоголя и Кафки преимущественно через сюжет двух произведений: «Нос» и «Превращение» – как пример единомоментной трансформации, или вернее сказать, пробуждения не от кошмара, но в кошмар: «...не из ночного кошмара, а, обратив вспять привычный порядок, в кошмар» [Parry: 141]. Ужас же заключается в близости страшного к обыденной жизни: «...кошмар, который всегда можно найти под поверхностью» [Parry: 141]. Этот переход в обыденный кошмар, по мнению Пэрри, крайне важен с позиции психоанализа, ибо мир снов говорит о героях больше правды, чем мир яви: «...они [Грегор Замза и Ковалев] находятся в том мире грез, который, как убеждены психоаналитики, говорит о нас истину» [Parry: 141].

С другой стороны, Владимир Набоков в лекции, посвященной «Превращению», сопоставляя новеллу Кафки с «Шинелью» Гоголя, принципиально отказывается от психоаналитического подхода, ибо и сам Кафка «... теории Фрейда считал очень приближенными, очень грубыми представлениями,

не отражающими в должной мере ни деталей, ни, что еще важнее, сути дела» [Набоков: 331]. Набоков говорит о человеческой сущности героев у обоих авторов, которая в мире фантастического допущения, полном античеловеческих существ, безусловно терпит крах:

«В “Шинели” и в “Превращении” герой, наделенный определенной чувствительностью, окружен гротескными бессердечными персонажами... В “Шинели” человеческое содержание героя — иного рода, нежели у Грегора в “Превращении”, но вызывающая к состраданию человечность присуща обоим» [Там же: 328].

М. Пурели сосредоточился на противоречивой природе не столько художественных миров двух авторов, сколько их историко-литературного контекста: «...именно экзистенциальный надлом, пережитый как Кафкой, так и Гоголем в их соответствующих исторических и культурных условиях, лежит в основе их постоянного стремления выйти за пределы “мира яви”» [Puleri: 357].

Р. Карст, сопоставляя двух прозаиков, говорит о нарушении течения обыденности у обоих через фантастическое событие. Однако, по мнению исследователя, существует принципиальное отличие в художественном методе, выраженное прежде всего в форме существования абсурда и обыденности. Мир Гоголя хотя и нарушен в своей целостности абсурд-

ными событиями, но еще нормален; мир Кафки же по умолчанию абсурден, а обыденная логика и привычный взгляд парадоксально нарушают его, абсурдного мира, целостность:

«Основное различие заключается в том, что Кафка делает иллюзию реальной, в то время как Гоголь делает реальность иллюзорной: первый изображает реальность абсурда, второй – абсурдность реального. Каждый из них по-своему переживает свою эпоху: мир Гоголя – это мир, которому угрожает опасность, который все еще существует, хотя его швы уже трещат; однако мир Кафки уже разрушен и окончательно лишен смысла» [Karst: 74].

В отечественном сравнительном литературоведении сопоставлению творчества двух прозаиков посвящены как минимум две примечательные работы: статья Ю.В. Манна «Встреча в лабиринте: Франц Кафка и Николай Гоголь» (1999) [Манн] и статья Ю.И. Архипова и Ю.Б. Боревы «Гротеск Гоголя и фантастическое начало в немецкоязычных литературах» (1988) [Архипов, Борев]. Одной из важнейших черт поэтики, объединяющей двух писателей, признается фантастика, вплетенная в реалистический сюжет:

«...из художественного мира полностью исключался носитель фантастики (то есть образы inferнальных сил, а также лиц, подпавших под их влияние), исключалось и само фантастическое событие (наличествовавшее еще в “Носе”) — и вместо этого

по тексту рассредотачивалась широкая сеть алогичных форм на уровне характерологии, сюжета, оформления авторской и прямой речи, описания пейзажа и среды и т. д. Среди этих форм — нагромождение алогизмов в суждениях персонажей и в их поступках, произвольное вмешательство животного в сюжет, аномалии в антураже или во внешнем виде людей и предметов, дорожная путаница и неразбериха и т. д. Многие, если не большинство подобных форм встречаются и в произведениях Кафки, где они благодаря своей интенсивности и обилию задают тон» [Манн].

Ю.И. Архипов и Ю.Б. Борев отмечают признание самим Кафкой влияния Гоголя: «Ф. Кафка в своих “Дневниках” не случайно среди важнейших для его духовной жизни писателей не раз упоминает двух гениев русской литературы – Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского» [Архипов, Борев: 148]. Манн же скептически высказывается о подобном основании сопоставления, в сущности, обозначая его как поверхностное:

«Знакомство Кафки с гоголевским творчеством очевидно, упоминания им произведений русского писателя не единичны, но эти упоминания находятся в ряду множества других и, кажется, не заключают в себе ничего специфического, “кафкианского”» [Манн].

Говоря уже о специфике художественного мира двух писателей, Архипов и Борев вы-

деляют также и принципиальное отличие в историко-литературном контексте:

«... традиция [Гоголя] была реалистической, действенно-гуманной, социально-активной, а основа творчества Кафки – экспрессионистская, страдательно-гуманистическая – не только социально-пассивная, но и содержащая в себе мотив обреченности и безысходности» [Архипов, Боров: 148].

Те же исследователи говорят о принципиально отличной природе художественного мира двух писателей:

«Гоголь вовсе не отождествлял абсурд и реальность. Для Гоголя лишь периферия жизни абсурдна, само ее ядро – разумно и прекрасно. <...> Для Кафки вся жизнь абсурдна. Абсурдное состояние ненормально, противогуманно, противочеловечно, но ничего нельзя с этим поделать: абсурд повсеместен, он суть самой истории, он ее бессмысленное содержание» [Там же: 149].

Подобное восприятие писателей было обусловлено позицией советского литературоведения, которая видела Гоголя как яростного критика царской России («Ревизор») и восторженного певца народного духа («Вечера на хуторе близ Диканьки»), а Кафку относила к упадочнической литературе. О данной тенденциозности говорит и Манн:

«...знающие люди с осторожностью проводили параллели между Кафкой и Гоголем, как, впрочем, и любым русским классиком. Что у них может быть общего? С одной стороны, ущербный декадент, оторванный от национальной почвы, не верящий в прогресс и созидательные силы народа; с другой – литература, исполненная душевного здоровья и “устремленная в будущее”...» [Манн].

Обращаясь же к «реальному соотношению двух писателей», Манн ставит под сомнение специфику влияния поэтики Гоголя именно на творчество Кафки, скорее заявляя важность русского писателя для определенной эпохи всего литературного процесса: «... выход Гоголя на авансцену мировой культуры, ощущение его как необычайно актуального художника, предвосхитившего тенденции иррациональности и абсурдизма в современном искусстве, – именно это событие выдвинуло соотношение двух имен [Гоголя и Кафки] как историко-литературную проблему» [Там же].

В целом компаративные исследования прозы Гоголя и Кафки выражаются в нескольких традициях рецепции – психоаналитической, соцреалистической, герменевтической и др. Данные методы рассматривают либо социально-историческую специфику литературного процесса конкретной эпохи, либо воплощение в их произведениях черт абсурдизма и сюрреализма. В последнем случае русский писатель зачастую обозначен

как предшественник, описывающий распад мира и его причинно-следственных связей, в то время как австрийский прозаик фиксирует данный процесс как уже свершившийся [Perry; Karst].

Далеко не во всех указанных исследованиях упоминается весьма часто встречающийся у двух авторов предмет изображения – бюрократическая система. Мы считаем, что он представляет особый интерес: обращение к нему позволяет наглядно отразить важные для данного сопоставления мотивы и образы.

Характерными для текстов и Гоголя, и Кафки становятся две константы.

Первая из них – бессильный герой, не способный повлиять на свою судьбу. Очень часто таковым становится мелкий чиновник или служащий, который существует, с одной стороны, как часть авторитарной бюрократической системы, воплощая часть ее силы; с другой же стороны, такой персонаж пребывает в состоянии подчинения и угнетения. Если же герой исключен из иерархии чиновничьего аппарата, часто он воспринимает таковой как закрытую и будто бы именно вследствие данного свойства священную по своей природе область.

Второй константой становится именно эта сакральная область; огромная, многоликая и в то же время лишенная индивидуально-го лица (значительное лицо в «Шинели» Гоголя), необъемлемая рассудком, неясная по своему устройству и принципу функциони-

рования машина, который полностью определяет жизнь героя через подавление. Подобную специфику художественного мира, в частности, характеризует Карст:

«В произведениях Кафки и Гоголя человеческому существу всегда угрожает мощь бюрократического аппарата – их герои ведут ожесточенные и гомерические по масштабу битвы с официальной машиной, обрекающей их либо на жалкое существование, либо на трагическое поражение. Оба писателя пытаются провести своих героев через лабиринт канцелярий – и в обоих случаях протагонистов ожидает крах» [Karst: 78].

Произведения Кафки, равно как и Гоголя, показывают безжалостный и бесстрастный мир, наделенный внешними атрибутами именно чиновничьей среды. Так, Манн указывает на звуковые эффекты вполне определенного свойства, сопровождающие героев:

«И у Гоголя, и у Кафки действие сопровождается порою шумовыми эффектами – бюрократическими, что ли. В канцелярии “шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хвостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями” (“Мертвые души”). Шумовой фон – и в комнате старосты во время разборки актов (“Замок”). Особенно впечатляет прерывание монотонности внезапными звуковыми эффектами, которые в свою очередь становятся устойчивым фоном» [Манн].

Добавим, что Манн делает особый акцент именно на прерывании монотонного процесса внезапными событиями, которые отражают специфику окружения – и упорядоченного, и тревожащего внезапными происшествиями.

Из-за подобной двойственности мира герой у обоих писателей вынужден почти постоянно «прощупывать» границы дозволенного – как в смысле проявляемой в своей службе субординации, так и в смысле своего окружения вообще. Этим, например, примечателен Башмачкин, все более раскрепощающийся во время сотворения шинели и даже начинающий в конце концов «сибаритствовать». В тот же вечер, когда герой позволяет себе выйти за рамки своего привычного шаблона поведения, он как будто получает возмездие за свою совсем ненадолго обретенную субъектность – и до конца своей земной жизни его человечность будет проявляться в мытарствах и страданиях.

О двойственности отношения Городничего и других чиновников «Ревизора» к власти, а значит, и к Хлестакову как ошибочно принятому за ее представителя лицу, А. Иваницкий в статье «О природе государственного пространства» пишет следующее:

«В “Ревизоре” коллективный самообман чиновников, поверивших в ревизорство Хлестакова, рожден их переживанием двум взаимодополняющих признаков высшей власти. Первый: *неотвратимость*¹ властного действия полицейского государства – судьи, прокурора и палача в одном лице, рождающая безмерный и безотчетный страх перед ним. Второй: *недостижимость* властного центра (Петербурга), рождающая столь же безмерное *влечение* к нему. Приняв под влиянием страха “сосульку, тряпку... за важного человека” и легко подружившись с ним, Городничий очень скоро оказывается захвачен непреодолимым желанием превратить “ревизора” Хлестакова в мост между собою и Петербургом» [Иваницкий: 132].

Герои Гоголя и Кафки, даже не пребывая на службе, зачастую как будто находятся в «присутственном» состоянии, под постоянным, хоть и неявным надзором – и тем он пристальнее, чем больше предполагаемого пространства до тревожащей фигуры:

«Что значила, например, чисто формальная власть, которую проявлял Кламм в отношении служебных дел К., по сравнению с той реальной властью, какой Кламм обладал в спальне К.? Вот и выходило так, что более легкомысленное поведение, большая непринужденность были уместны только при непосредственном соприкосновении с вла-

¹ Здесь и далее – курсив автора. – К. Ш.

стями, а в остальном нужно было постоянно проявлять крайнюю осторожность, с оглядкой во все стороны, на каждом шагу» [Кафка: 227].

Герои Кафки и Гоголя часто наделены формальными атрибутами служащего: у них есть звание, круг обязанностей и полномочий, которые, тем не менее, при попытке чуть более пристально взглянуть на них растворяются, теряют черты исключительно реалистической детали. Так, Акакий Акакиевич, только родившись, и плачет не как типичный младенец, а как будто от роковой предопределенности быть всю свою жизнь только лишь титулярным советником – но никак не более того.

Герои двух авторов часто включены в служебную иерархию, систему соподчинения, которая и определяет их статус – как в формальной, так и в неформальной обстановке. Именно поэтому, скажем, так страшен для уездных чиновников Хлестаков – он петербургский чужак, не вполне даже, пожалуй, человек, одновременно и пугающий, и манящий, таинственное, но предположительно наделенное чудесными свойствами существо (вспомним, как радуется Городничий, когда Хлестаков вносит определенность в собственную природу, прося денег взаймы). Даже Бобчинский и Добчинский, которые не включены в чиновничий аппарат города N и, казалось бы, должны были бы относиться к нему лишь с некоторой долей интереса, поддаются общему ажиотажу перед лицом сто-

личного «гостя». Они видят в нем почти что священную фигуру, прибывшую из области мифической – из административного центра империи:

«...обожествление Хлестакова не служащими Бобчинским и Добчинским, которые, как известно, и “открыли” в нем ревизора, обнажает *пространственное* отношение подданного – провинциала к столице: не только *вершине* иерархической пирамиды, но и бесконечно далекому *центру*. Их задушевная цель – *созерцание, приобщение и весть*. Бобчинский готов “петушком” бежать за дрожками с Городничим и Хлестаковым, чтобы в щелочку подглядеть властные “*поступки*” ревизора, очевидно воспринимаемые им как *таинство*. А во время личной аудиенции просит Хлестакова сообщить при дворе... и даже самому государю о его, Бобчинского, *существовании*» [Иваницкий: 133].

Фатальное столкновение с властью героев Кафки и Гоголя, как правило, носит как будто случайный характер, на деле являясь фатумом, предначертанной смертью. Так, Башмачкин, пройдя свои круги бюрократического ада до значительного лица, оказывается уничтожен его, генерала, порывом «начальственного» настроения. На самом деле этот акт моральной смерти, в сущности, вполне закономерно венчает поиски Акакием Акакиевичем справедливости и символизирует безразличие к нему – даже не чиновничьего аппарата, но всего мира: «...существо, пере-

носившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу...» [Гоголь: 268].

Случайный и вместе с тем закономерный в своей бездушности характер взаимоотношения с законом у персонажей Кафки отражен в новелле «Стук в ворота»: наказанию не важно, на голову того ли оно падет и будет ли соразмерным – важнее, что оно должно быть осуществлено: правовую процедуру следует неукоснительно соблюсти. Эту связь предопределенной вины с концепцией административного аппарата в творчестве Кафки на примере новеллы «Ходатай», сюжет которой перекликается с «Процессом», обозначает и А. Иваницкий:

«Любой подчиненный – потенциальный подсудимый, который поэтому всегда нуждается в *ходатае*. Судебная власть властного/отцовского пространства столь же повсеместна, как и управляющая. Соответственно, ходатая можно найти везде. Но где искать – неизвестно» [Иваницкий: 137].

Нарушенная логика предпосылок и следствий бюрократической машины побуждает многих персонажей и Кафки, и Гоголя искать границы дозволенного в пределах условной бюрократической машины, испытывая облегчение в том случае, если они определены верно, и страх, если они не определяемы. Именно поэтому, например, процесс Йозефа К. имеет для него такое всеобъемлющее значение: он

под судом, но свободен; должен постоянно трепетать суда, но не может в полной мере, ибо не знает, когда встретит его очередного представителя. Даже придя к моменту исполнения приговора, он не может всерьез проникнуться ужасом при виде пары исполнителей-палачей: они представляются протагонисту старыми отставными актерами, чей образ при выходе на «сцену» отглажен, вылощен, лишен случайных помарок. Однако вместе с тем в их руках он, пусть и не сразу, становится послушен, явственно принимая свою судьбу: «...для К. не имело никакого значения, была ли то фройляйн Бюрстнер или нет, просто он вдруг осознал всю бессмысленность сопротивления» [Кафка: 169].

Свободу такой герой часто воспринимает как состояние, достойное одной реакции – ужаса, ибо он может совершить непоправимое, упустить выполнение своих обязанностей и пр. Здесь допустимо вспомнить состояние К., который отказался следовать протоколу и быть допрошенным; незадолго до того, одержав как будто победу в своем противостоянии с Момом и кучером на заснеженном дворе, победу как будто бы и над Кламмом, протагонист остался в навевающей отчаяние мизансцене: «...теперь его не могли тронуть или прогнать, но в то же время он с такой же силой ощущал, что не могло быть ничего бессмысленнее, ничего отчаяннее, чем эта свобода, это ожидание, эта неуязвимость» [Кафка: 266]. С другой сто-

роны, в несвободе, в подчиненности абсурдной воле суда и в исполнении неясного для него приговора Йозеф К. находит утешение. В этой противоречивости одним из самых примечательных примеров становится притча о вратах Закона, где поселянин, в сущности, находил утешение в систематических отказах привратника, которые давали спасительную определенность в несвободе.

В неупорядоченном мире двух прозаиков никто не защищен от случайного характера роковых событий – даже герои, казалось бы, наделенные властью. Так, в новелле Кафки «Посейдон» древнегреческий бог низведен до конторского начальника, а попытка изменить роковую предопределенность его судьбы-«должности» заранее обречена на неудачу и совмещается с физическим недомоганием; лишь перед концом времен, быть может, ему удастся-таки уйти от своего навеки определенного места. Значительное лицо, проявляя пусть и запоздавшее, но все же участие в судьбе пришедшего к нему Башмачкина, вскоре после этого приступа рассказчика сталкивается с призраком – и, как и многие до генерала, безропотно оставляет бесплотному духу его добычу. Дворец в «Старинной записи» Кафки лишь безмолвно наблюдает за бесчинствующими кочевниками – государь, мелькающий неясной тенью перед глазами рассказчика, не способен ни сдаться захватчикам, ни призвать своих воинов на помощь, становясь фигурой, воплощающей то ли бессилие, то ли отрешенность от земных проблем.

Подводя итоги, следует отметить, что чиновничество как явление у Гоголя воплощается в частном случае, чаще всего – фигуре отдельного мелкого служащего, мотивированной конкретным социальным контекстом, усиленной гротескностью репрезентации вещного мира. У Гоголя атрибут заслоняет человека («Шинель», «Ревизор»). Социальная роль и круг обязанностей определены, и потому герой не способен выйти за пределы своего мирка; однако при необходимости разобраться в запутанной иерархии этого мира он гибнет в его, мира, неопределенности. Человечность героев подчеркивается их творческим потенциалом, который выделяется автором: ремесло Башмачкина становится любовно выполняемым делом, а вдохновенное вранье Хлестакова, которым он начинает обманывать и самого себя, – отдельным видом искусства. Это то небольшое человеческое, что спасает их от бездушного мира.

Чиновничество у Кафки – аллегория человеческого существования в оппозиции свободы / несвободы. Герои реже представлены как чиновники; однако и обыденная жизнь часто представлена как бюрократизированный процесс, существующий, однако, не с тем, чтобы упорядочивать бытие, но чтобы вносить в него еще больший разлад. Герой представлен бессильным существом, лишенным понимания данной системы, зачастую не останавливающей на нем свой безразличный взгляд. Даже когда герой включен в эту систему, его круг обязанностей и прав, казалось бы, подразуме-

вающий юридическую точность, обозначен в самых неопределенных чертах.

Должность или, скорее, невозможность при-держиваться таковой, становится для них лишь источником тревоги. Иерархическая же свобода, отсутствие определенности, которая есть как будто знак богооставленности, во многом становятся источником экзистенциального страха. Именно поэтому как оппозиции данного неопределенного состояния, в сущности, радуется К. в «Замке», когда получает должность школьного сторожа – теперь он вписан в систему.

Важным для поддержания чувства тревоги у героев Кафки и Гоголя становится непонимание предпосылок, разрыв причинно-следственных связей, совмещенное с неопределенным статусом, и фактическое отсутствие точно обозначенного начального события. Как примеры допустимо вспомнить начало процесса Йозефа К.; отсутствие законных оснований как для присутствия, так и для убытия К. в «Замке» – его не вызывали, но и не вызывали. В произведениях Кафки сущность заполняющей весь мир бюрократической системы не просто скрыта от героев; через эту невозможность познания она становится враждебной к протагонисту. Из круга блужданий К. в «Замке» нет исхода, ибо нет представления о самой сути окружающего его пространства – как вещно-материального, так и бюрократического. От процесса для Йозефа К. нет избавления, ибо нет сколько-нибудь конкретного знания о сущности идущего дела.

Литература

Архипов Ю.И., Боров Ю.Б. Гротеск Гоголя и фантастическое начало в немецкоязычных литературах // Гоголь и мировая литература. М.: Наука, 1988. С. 141–156.

Гоголь, Н.В. Повести. Ревизор. М.: Художественная литература, 1984.

Иваницкий, А. (2010). О природе государственного пространства у Н.В. Гоголя и Ф. Кафки. In N.V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase: (studie o živém dědictví). Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 131–137.

Кафка, Ф. Процесс. Замок / пер. Р. Райт-Ковалевой. СПб.: СЗКЭО, 2023.

Манн, Ю.В. Встреча в лабиринте: Франц Кафка и Николай Гоголь // Вопросы литературы. 1999. № 2. С. 162–186 [Электронный ресурс]. URL: <https://voplit.ru/article/vstrecha-v-labirinte-frants-kafka-i-nikolaj-gogol/> (дата обращения: 03.09.2024).

Набоков, В.В. Франц Кафка // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая Газета, 1998. С. 325–366.

Karst, R. (1975). The reality of the absurd and the absurdity of the real: Kafka and Gogol. Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal. (9) 1, 67–81.

Parry, I.F. (1953). Kafka and Gogol. German life and letters. 6 (2), 141–145.

Puleri, M. (2017). Between Kafka and Gogol. 'De-territorialising' national narrative(s) in post-soviet Ukrainian literature in Russian. In

C. Pieralli, C. Delaunay, & E. Priadko, Russia, Oriente slavo e Occidente europeo. Fratture e integrazioni nella storia e nella civiltà letteraria. Firenze University Press, 357–376.

References

Arkhipov, Yu., & Borev, Yu. (1988). Grotesk Gogolya i fantasticheskoye nachalo v nemetskoyazychnykh literaturakh [Gogol's grotesque and the fantastic features in German-language literatures]. In Yu. Mann (Ed.), *Gogol' i mirovaya literatura* [Gogol and world literature]. Moscow: Nauka.

Gogol, N. (1984). *Povesti. Revizor* [Stories. The inspector-general]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

Ivanitskiy, A. (2010). O prirode gosudarstvennogo prostranstva u N.V. Gogolya i F. Kafki [On the nature of the state space by N.V. Gogol and F. Kafka]. In N. V. Gogol: *Bytí díla v prostoru a čase: (studie o živém dědictví)* [N. V. Gogol: Being of the work in space and time: (a study of the living heritage)]. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty: 131–137.

Kafka, F. (2023). *Der Process. Das Schloss* [The Trial. The Castle] (Trans.). St. Petersburg: SZKEO.

Karst, R. (1975). The reality of the absurd and the absurdity of the real: Kafka and Gogol. *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal*. (9) 1, 67–81.

Mann, Yu. (1999). Vstrecha v labirinte: Frants Kafka i Nikolay Gogol' [Meeting in the labyrinth: Franz Kafka and Nikolay Gogol]. *Voprosy literatury*, [Literature issues], 2, 162–86. Retrieved from: <https://voplit.ru/article/vstrecha-v-labirinte-frants-kafka-i-nikolaj-gogol/> (date of access: 03.09.2024).

Nabokov, V. (1998). Frants Kafka [Franz Kafka]. In V. Nabokov, *Lektsii po zarubezhnoy literature* [Lectures on foreign literature]. Moscow: Nezavisimaya Gazeta.

Parry, I.F. (1953). Kafka and Gogol. *German life and letters*. 6 (2), 141–145.

Puleri, M. (2017). Between Kafka and Gogol'. 'De-territorialising' national narrative(s) in post-soviet Ukrainian literature in Russian. In C. Pieralli, C. Delaunay, & E. Priadko, *Russia, Oriente slavo e Occidente europeo. Fratture e integrazioni nella storia e nella civiltà letteraria*. Firenze University Press, 357–376.

Для цитирования: Штейнбах, К.В. Образ чиновничества в творчестве Ф. Кафки и Н.В. Гоголя // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2024. Т. 9. № 4. С. 162–173. DOI: 10.18522/2415-8852-2024-4-162-173

For citation: Shteynbakh K.V. (2024). Image of a officialdom in works of F. Kafka and N.V. Gogol. *Practices & Interpretations: A Journal of Philology, Teaching and Cultural Studies*, 9 (4), 162–173. DOI: 10.18522/2415-8852-2024-4-162-173

THE IMAGE OF OFFICIALDOM IN THE WORKS OF N.V. GOGOL AND F. KAFKA

Kirill V. Shteynbakh, Senior Lecturer, Kuban State University (Krasnodar, Russia); e-mail: ste1n1.kun@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the problem of comparing the works of Franz Kafka and Nikolai Gogol on the example of the bureaucracy image as an integral part of the poetics of the two writers. Russian and Austrian researchers have a long history of comparative research on this issue problem, particularly, to complex relations of mundane and surreal features. Analysis of bureaucracy image in works of Kafka and Gogol shows grotesque conjunction of reliability and absurdity. Some scholars have already addressed selected aspects of this phenomenon but we consider this subject as requiring further study. Works of Kafka and Gogol represent officialdom as ambivalent phenomenon which implies both chaos and consistency of a controversial world. Another important feature of bureaucracy is its sacred almost divine nature, unreachable for profane gaze and understanding. Gogol's official is substituted by his position in hierarchy; Kafka's character, insignificant and tragic at the same time, exists in a bureaucratic world.

Key words: Kafka, Gogol, realism, modernism, comparative studies, poetics, bureaucracy, ambivalence

